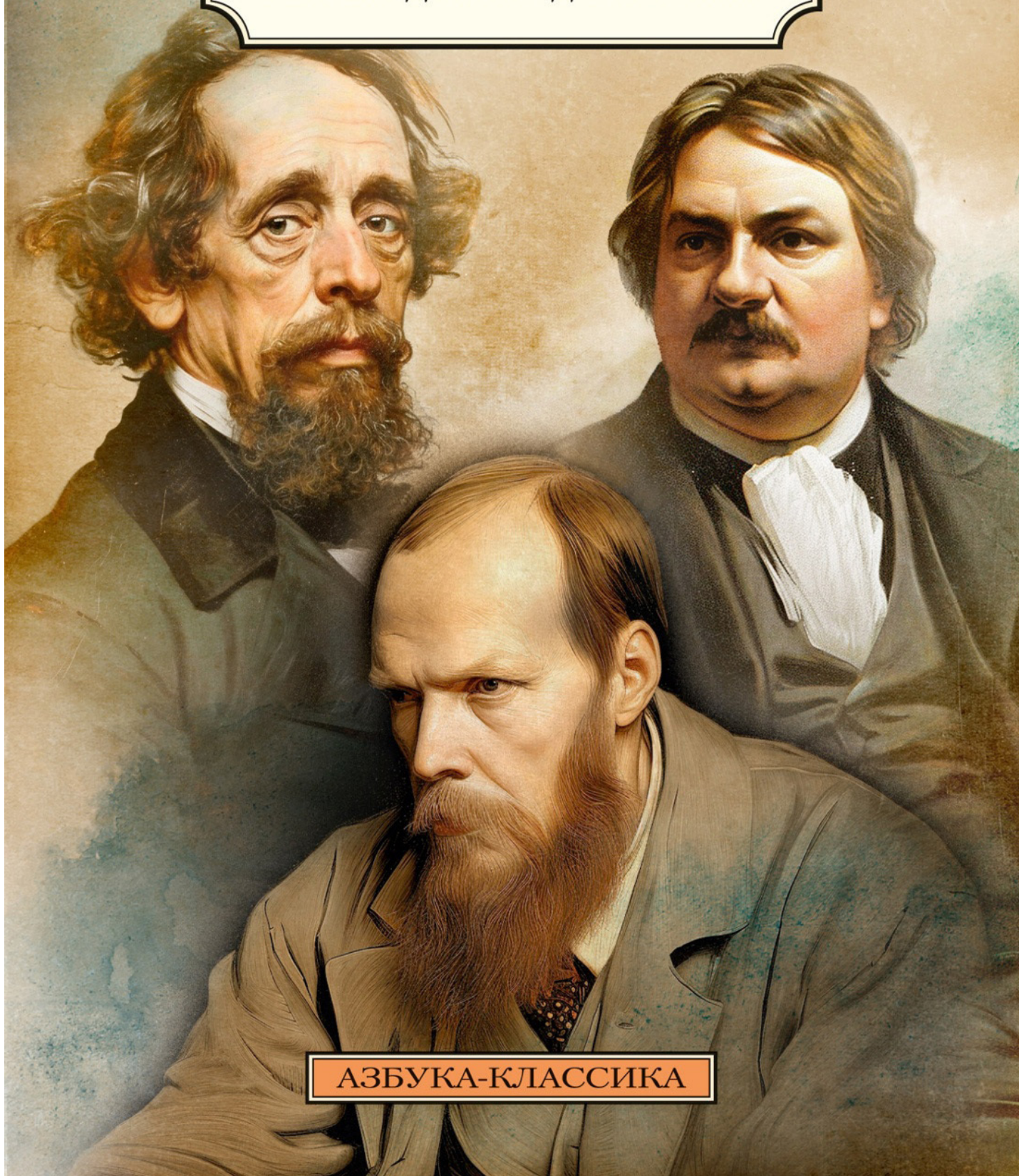


СТЕФАН
ЦВЕЙГ

Три мастера

Бальзак. Диккенс. Достоевский



АЗБУКА-КЛАССИКА

Стефан Цвейг

**Три мастера. Бальзак.
Диккенс. Достоевский**

«Азбука-Аттикус»

1919

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

Цвейг С.

Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский / С. Цвейг —
«Азбука-Аттикус», 1919

ISBN 978-5-389-25188-5

Стефан Цвейг – классик австрийской литературы, автор великолепных психологических новелл и беллетризованных биографий, переведенных на все языки мира. Его биографии сочетают в себе художественную красоту стиля и верность истории. В настоящее издание вошли увлекательные биографии трех писателей, которые, по словам автора, являются «единственными великими писателями-романистами девятнадцатого века», – Бальзака, Диккенса и Достоевского. Поясняя свой выбор, Цвейг пишет: «Писателем-романистом в последнем, высшем смысле является лишь энциклопедический гений, всеобъемлющий художник, который... строит целый космос и противопоставляет земному миру собственный мир с собственными типами, собственными законами тяготения и собственным звездным небом... Каждый из таких художников в обилии созданных им образов являет некое жизнеощущение, некий закон жизни, столь единый и цельный, что он становится новой формой мира». В книгу также вошел знаменитый очерк о жизни великого гуманиста эпохи Возрождения «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского». В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 821.112.2(436)

ББК 84(4Авс)-44

ISBN 978-5-389-25188-5

© Цвейг С., 1919
© Азбука-Аттикус, 1919

Содержание

Три мастера	7
Предисловие	7
Бальзак	9
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Стефан Цвейг
Три мастера. Бальзак.
Диккенс. Достоевский

© Г. А. Зуккау (наследник), перевод, 2024

© Л. М. Миримов (наследник), перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Азбука®

Три мастера

*Ромену Роллану в благодарность за незаблемую дружбу в светлые
и темные годы*

Предисловие

Эти три очерка – о Бальзаке, Диккенсе и Достоевском – появились на протяжении десяти лет, однако неслучайно соединены они в одной книге. Они проникнуты единым намерением в лице трех великих и – в моем понимании этого слова – единственных писателей-романистов девятнадцатого века показать типы, которые благодаря резкому своему несходству как бы дополняют друг друга, и внести, может быть, ясность в понятие об эпическом изобразителе мира, о романисте.

Называя здесь Бальзака, Диккенса и Достоевского единственными великими писателями-романистами девятнадцатого века, я отнюдь не хочу умалить таким предпочтением величие отдельных произведений Гёте, Готфрида Келлера, Стендаля, Флобера, Толстого, Виктора Гюго и других, чьи единичные романы нередко далеко превосходят отдельные произведения, в особенности Бальзака и Диккенса. Поэтому мне представляется необходимым в точности установить проводимое мною внутреннее непоколебимое различие между сочинителем романа и романистом. Писателем-романистом в последнем, высшем смысле является лишь энциклопедический гений, всеобъемлющий художник, который – здесь широкий размах произведения и обилие действующих лиц становятся аргументом – строит целый космос и противопоставляет земному миру собственный мир с собственными типами, собственными законами тяготения и собственным звездным небом. У такого писателя всякое действующее лицо, всякое явление настолько пропитаны его сущностью, что не только для него становятся они типичными, но и для нас самих приобретают ту убедительную образность, которая часто побуждает нас присваивать их названия явлениям и лицам и в жизни про живых людей говорить: это – бальзаковская фигура, это – диккенсовский образ, это – тип Достоевского. Каждый из таких художников в обилии созданных им образов являет некое жизнеощущение, некий закон жизни, столь единый и цельный, что он становится новой формой мира.

К попытке изобразить этот глубоко затаенный закон, этот душевный склад во всей сокровенной его цельности и сводится сущность моей книги, ненаписанный подзаголовок которой мог бы гласить: «Психология романиста».

У каждого из этих трех писателей-романистов есть своя собственная сфера. У Бальзака – мир общества, у Диккенса – мир семьи, у Достоевского – мир личности и вселенной. Из сравнения этих сфер обнаруживаются существующие между тремя авторами различия, но ни разу еще не было сделано попытки обратить истолкование этих различий в оценку или подчеркнуть – дружелюбно или неприязненно – национальные элементы художника. Всякий великий творец представляет собой известное единство, заключающее в себе свои пределы и свой вес в собственных единицах меры. Ибо на весах справедливости каждому произведению присущ только внутренний, удельный, а не абсолютный вес.

Все три очерка предполагают знакомство с обсуждаемыми произведениями и являются не введением к ним, а продуктом возгонки, конденсацией, экстрактом. Поэтому, в силу своей сжатости, они могут касаться лишь того, что лично ощущается как нечто существенное. Более всего смущает меня этот неизбежный недочет в статье о Достоевском, чья беспредельность, равняющая его с Гёте, едва ли может быть охвачена даже самой широкой формулой.

Охотно присоединил бы я к великим образам француза, англичанина и русского портрет соответствующего немецкого писателя-романиста, эпического изобразителя мира в том высоком смысле, какой я вкладываю в слово «романист». Но ни в современности, ни в прошлом я не нахожу никого, кто достиг бы этой высшей ступени. И может быть, смысл этой книги в том, чтобы потребовать явления его в будущем и его, еще далекого, приветствовать.

Зальцбург, 1919

Бальзак

Бальзак родился в 1799 году в Турени, провинции изобилия, на веселой родине Рабле. В июне 1799 года – эта дата достойна повторения. Наполеон – смятенный его подвигами мир называл его еще Бонапарте – вернулся в этом году из Египта не то победителем, не то беглецом. Он сражался под чуждыми созвездиями, перед каменными свидетелями – пирамидами, а затем, устав упорствовать в завершении грандиозно начатого дела, проскользнул на утлом суденышке между подстерегавшими его корветами Нельсона, через несколько дней по приезде собрал вокруг себя горсточку приверженцев, дочиста вымел пытавшийся оказать сопротивление Конвент и одним взмахом овладел верховной властью во Франции.

1799 год, год рождения Бальзака, является началом империи. Новое столетие не знает больше ни *le petit caporal*¹, ни корсиканского авантюриста, знает только Наполеона, императора французов. Еще десять – пятнадцать лет – как раз отроческие годы Бальзака – и властолюбивые руки захватывают пол-Европы, а тщеславные замыслы орлиными крыльями простираются уже над всем миром от востока до запада. Для человека, который так интенсивно переживает все окружающее, как Бальзак, не может быть безразлично, что шестнадцать лет первого знакомства его с миром совпадают с шестнадцатью годами империи, с самой, пожалуй, фантастической эпохой мировой истории. Ибо ранние переживания и призвание – разве не являются они, в сущности, лишь внутренней и внешней поверхностью одного и того же? Что кто-то с какого-то острова в лазурном Средиземном море пришел в Париж, без друзей и без дела, незванный и непрощеный, грубо захватил там брошенные бразды власти, повернул ее вспять и обуздал, что кто-то, один на один, всем чужой, голыми руками завладел Парижем, затем Францией, а потом и всем миром, – эта причуда мировой истории поведена ему, современнику, не черными письменами, не в ряду других невероятных легенд и преданий: красочно, через все его жадно раскрытые чувства внедряется она в его личную жизнь, населяя тысячеликкой, пестрой правдой воспоминаний еще не исхоженный мир его души. Пережитое таким образом событие неизбежно должно стать примером. Мальчик Бальзак грамоте обучался, может быть, по прокламациям, которые гордо, сурово, почти с римским пафосом повествовали о далеких победах; детским пальчиком, неловко водил он, вероятно, по карте, где Франция, словно разбушевавшаяся река, постепенно разливалась по всей Европе, следил за переходами наполеоновских солдат, сегодня через Мон-Сенис, завтра через Сьерру-Неваду, или через реки – в Германию, или по снегам – в Россию, или по морю – под Гибралтар, где англичане спалили их флот раскаленными пушечными ядрами.

Днем, может быть, играли с ним на улице солдаты, которым казаки исписали лицо своими шашками; по ночам он часто, должно быть, пробуждался от гневного грохота артиллерии, спешившей в Австрию, чтобы под Аустерлицем разбить ледяной покров под русской конницей. И все помыслы его юности должны были раствориться в одном волнующем имени, в одной мысли, в одном представлении: Наполеон! Перед большим садом, ведущим из Парижа в широкий мир, выросла триумфальная арка, на которой высечены были названия городов половины этого мира, и в какое же беспредельное разочарование должно было преобразиться чувство господства, когда чужеземные войска с музыкой и развевающимися знаменами прошли под этими горделивыми сводами!

То, что происходило снаружи, в потрясенном бурями мире, прорастало внутрь в качестве пережитого. Рано пришлось мальчику познакомиться с невероятной переоценкой ценностей, как духовных, так и материальных. Он видел, как ассигнации, на которых за печатью республики значилось 100 и 1000 франков, носились по ветру, словно клочки простой бумаги. На

¹ Маленький капрал (*фр.*). Одно из прозвищ Наполеона. – *Примеч. ред.*

золотых монетах, попадавших в его руки, красовался то жирный профиль обезглавленного короля, то символ свободы – яacobинский колпак, то римское лицо консула, то Наполеон в императорском облачении. В эпоху столь чудовищных сдвигов, когда иссякали или переливались через край нравственность, деньги, родина, законы, чины – словом, все, что веками заключено было в твердые границы, в эпоху столь невиданных перемен он должен был рано осознать относительность всех ценностей. Какой-то вихрь закрутил окружающий его мир, и когда смущенный взор искал точку опоры, символ, созвездие над этими вздыбившимися валами, то в приливе и отливе событий он останавливался неизменно на одном, на действующем, на том, от кого исходили эти тысячи потрясений и колебаний.

Да и самого его, Наполеона, он пережил. Он видел его едущим верхом на парад, окруженным чадами его воли: мамелюком Рустаном, Иосифом, которому он подарил Испанию, Мюратом, которому отдал в собственность Сицилию, предателем Бернадотом, всеми, для кого чеканил он короны и завоевывал королевства и кого вывел из нищеты их прошлого в сияние своего настоящего. В одну секунду на его сетчатой оболочке наглядно и живо отобразилась лучезарная картина, более величественная, чем все примеры истории: он увидел великого завоевателя мира. А разве для мальчика увидеть завоевателя мира не равносильно желанию стать таким же самому? В двух других местах отдыхали в ту пору еще два завоевателя мира: в Кенигсберге, где один из них свел всю запутанность вселенной в единую систему, и в Веймаре, где поэт владел этой вселенной – всей целиком – не менее прочно, чем Наполеон со своими армиями. Но для Бальзака это было еще надолго неосязаемой далью. Стремление всегда желать лишь целого, а не частичного, жадно добиваться всей полноты жизни – это лихорадочное честолюбие порождено было в нем на первых порах лишь примером Наполеона.

Эта огромная мировая воля не сразу познает свой путь. Бальзак не останавливается сперва ни на какой профессии. Родись он на два года раньше, он восемнадцати лет поступил бы в ряды наполеоновских войск, штурмовал бы, может быть, высоты при Белл-Альянсе, где сметала все живое английская картечь. Но мировая история не любит повторений. За грозой наполеоновской эпохи следуют теплые, мягкие, дремотные дни лета. При Людовике XVIII сабля превращается в изящную шпагу, солдат – в царедворца, политик – в краснбая; высшие государственные должности приобретаются уже не силой испытанного в делах кулака, уже не силой случая с его темным рогом изобилия, а женские мягкие ручки даруют отныне милости и благоволение; общественная жизнь мелеет, становится все скуднее, и кипящая пена событий разглаживается в тихую поверхность пруда. Мир уже не поддавался более завоеванию оружием. Наполеон, пример для единичных людей, для многих был пугалом. Итак, остается искусство. Бальзак начинает писать. Но не так, как другие, не затем, чтобы наскрести денег, позабавить публику, наполнить книжную полку, вызвать разговоры на бульварах; в литературе его прельщает не маршалский жезл, а императорская корона.

За работу он принимается в какой-то мансарде. Под чужим именем, как бы испытывая свои силы, пишет он свои первые романы. Это еще не война, а лишь военная игра, маневры, а не сражение. Недовольный успехом, неудовлетворенный достигнутым, он бросает свое ремесло, служит три-четыре года на другом поприще, работает писцом в нотариальной конторе, наблюдает, приглядывается, вкушает, проникает взором в сущность мира, а затем начинает снова. Но на сей раз – устремив всю свою огромную волю на целое, с гигантской, фанатической алчностью, пренебрегающей единичным явлением, феноменом, отрывочным, лишь бы охватить то, что вращается большими размашистыми кругами, лишь бы послушать, как работают таинственные зубчатые колеса первобытных инстинктов. Извлечь из кипящего котла событий чистые элементы, из сумбура цифр – сумму, из шума и грохота – гармонию и из полноты жизни – ее эссенцию, загнать весь мир в свою реторту, вновь воссоздать его «в ракурсе», в точном сокращении, чтобы одухотворить эту покоренную вселенную своим собственным дыханием и управлять ею своими собственными руками: вот какова теперь его цель! Из этого мно-

гообразия ничто не должно быть утеряно, и, чтобы свести беспредельное к какому-то пределу, недостижимое к чему-то доступному для человека, существует только одно средство, один процесс: процесс сжатия.

И вот вся его сила работает в том направлении, чтобы сжать явления, пропустить их сквозь такое сито, где остается все несущественное и просеиваются только чистые, ценные формы; а затем спрессовать эту россыпь единичных форм в тепле своих рук, свести их подавляющее многообразие в наглядную, стройную систему, подобно тому как Линней уложил миллиарды растений в одну тесную классификацию, как химик сводит бесчисленные соединения к щепотке элементов. В этом теперь все его честолюбие. Он упрощает вселенную, чтобы затем властвовать над ней, и втискивает побежденный мир в грандиозное училище «*Comédie humaine*»². Благодаря этому процессу дистилляции его люди всегда оказываются типами, сводками черт, характерных для какого-то множества, очищенными неслыханной художественной волей от всего лишнего и несущественного. Эти прямолинейные страсти служат ударной силой, эти чистые типы – актерами, это декоративно упрощенное окружение – кулисами для «*Comédie humaine*».

Он концентрирует, вводя в литературу административную систему централизации. Подобно Наполеону, он обращает Францию в окружность мира, а Париж – в его центр. И в этот круг, в самый Париж, он вписывает еще несколько кругов: дворянство, духовенство, рабочих, писателей, художников, ученых. Из пятидесяти аристократических салонов он делает один – салон герцогини де Кадиньян. Из сотни банкиров – барона де Нюсенжена, из всех ростовщиков – Гобсека, из всех врачей – Ораса Бьяншона. Он заставляет этих людей жить плотнее друг возле друга, чаще соприкасаться между собой, ожесточеннее бороться друг с другом. Там, где жизнь порождает тысячу разновидностей, у него их только одна. Он не знает смешанных типов. Его мир беднее действительности, но зато интенсивнее ее. Ибо люди его являются экстрактами, его страсти – чистыми элементами, его трагедии – конденсатами.

Подобно Наполеону, он начинает с завоевания Парижа. Затем он захватывает провинцию за провинцией – каждый департамент как бы шлет своего представителя в бальзаковский парламент – и наконец бросает свои войска, как победоносный консул Бонапарте, во все страны. Размах его широк: он посылает своих людей к фиордам Норвегии, на опаленные солнцем, песчаные равнины Испании, под огненно-красное небо Египта, к обледенелой переправе через Березину; куда угодно и еще того дальше простирается его воля, подобная воле великого его прообраза. И как Наполеон, отдыхая между двумя походами, создал *code civil*³, так Бальзак, отдыхая от завоевания мира в «*Comédie humaine*», создает нравственный кодекс любви и брака, целый принципиальный трактат, и над всеобъемлющей линией крупных произведений выводит, улыбаясь, еще шаловливый завиток своих «*Contes drolatiques*»⁴.

Из глубин нищеты, из крестьянских лачуг он переносится в богатые особняки квартала Сен-Жермен, проникает в покои Наполеона, всюду уничтожая четвертую стену и вместе с нею все тайны закрытых помещений. Он в Бретани заодно с солдатами располагается на отдых в палатках, играет на бирже, заглядывает за кулисы театра, следит за работой ученого... Нет на свете такого уголка, куда бы не проливал света его волшебный пламень. В его армии насчитывается две-три тысячи человек, и в самом деле, из земли он их выжал, из плоской своей ладони вырастил. Нагими явились они из небытия, и он рядит их в одежды, дарит им (а потом отнимает), как Наполеон своим маршалам, титулы и богатства, играет ими и натравливает их друг на друга. Неисчислимо многообразие событий, и огромен встающий за ними ландшафт. Подобно тому как Наполеон – единственный в новейшей истории, так единственно в совре-

² «Человеческой комедии» (фр.).

³ Гражданский кодекс (лат.). Законодательный акт Франции. – Примеч. ред.

⁴ «Озорных рассказов» (фр.).

менной литературе это завоевание мира в «Comédie humaine», это «держание в руках» всей плотно стиснутой жизни. Еще отроком мечтал Бальзак завоевать мир, а ничто так не могущественно, как ранний замысел, претворившийся в действительность. Недаром же написал он под одним из портретов Наполеона: «Ce qu'il n'a pu achever par l'épée, je l'accomplirai par la plume»⁵.

И каков он, таковы и его герои. Все они жаждут завоевать мир. Какая-то центроостремительная сила бросает их из провинции, из родных мест, в Париж. Там – их поле брани. Пятьдесят тысяч молодых людей, целая армия, стекаются туда – неиспытанная, девственная сила, смутная энергия, ищущая разрядки; и здесь, в тесноте, эти люди сталкиваются между собой, словно пушечные ядра, истребляют друг друга, взмывают ввысь, срываются в бездну. Никому заранее не уготовано место. Всякий должен сам завоевать себе ораторскую трибуну, перековать в надежное оружие твердый, как сталь, упругий металл, именуемый молодостью, и сгустить свою энергию до пределов взрывчатого вещества. Что такая борьба внутри цивилизации не менее ожесточенна, чем на полях сражений, это впервые доказано Бальзаком, и он гордится этим. «Мои буржуазные романы трагичнее ваших трагедий!» – бросает он романтикам. Ибо первое, что узнают эти молодые люди, герои бальзаковских книг, – это закон неумолимости. Им известно, что их слишком много и что они – это сравнение принадлежит Вотрену, любимцу Бальзака, – должны пожрать друг друга, как пауки в банке. Оружие, выкованное ими из своей молодости, они должны еще отравить жгучим ядом опыта. Прав только тот, кто всех переживет. Из всех тридцати двух родин ветра стекаются они, как санкюлоты Великой армии, обдирают свои башмаки по дороге в Париж, придорожная пыль въедается им в одежду, а глотки спалены неутолимой жаждой наслаждений.

И вот, оглядевшись в новой, волшебной сфере элегантности, богатства и могущества, они чувствуют, что для завоевания этих дворцов, этих женщин, этой власти та малая кладь, которую принесли они с собой, никакой цены не имеет и что для использования своих способностей необходимо переплавить молодость в упорство, ум – в хитрость, доверчивость – в вероломство, красоту – в порок, отвагу – в изворотливость. Ибо герои Бальзака сугубо требовательны: им подавай все! Все они переживают одно и то же приключение: мимо них мчится кабриолет, колеса обдают их грязью, кучер размахивает бичом, а в экипаже сидит молодая женщина, и в волосах ее сверкают драгоценности. Быстро промелькнул брошенный ею взгляд. Она прекрасна и обольстительна; она символ наслаждения. И у всех героев в это мгновение только одно желание: мне, мне эту женщину, этот экипаж, лакеев, богатство, Париж, весь мир!

Их развратил пример Наполеона, доказавшего, что могущество доступно и малейшему из малых. Они не домогаются, подобно провинциалам-отцам, виноградников, префектуры или наследства; нет, они борются уже за символы, за власть, за восхождение в тот лучезарный круг, где сияют, как солнце, бурбонские лилии, а деньги, словно вода, текут меж пальцев. И становятся они теми великими честолюбцами, которым Бальзак приписывает более крепкие мускулы, более неистовое красноречие, более действенные побуждения и хоть более быстротечную, но зато и более яркую жизнь, чем другим. Это люди, чьи мечты претворяются в действительность, поэты, которые – как он говорит – в гуще жизни творят поэзию. К делу приступают они двояким способом: гению предназначен один путь, простому смертному – другой. Надо найти свой собственный способ добиться власти или изучить чужие способы, методы, усвоенные окружающим обществом. Надо разрывным снарядом смертоносно врезаться в толпу тех, кто отделяет тебя от цели, или же медленно их отравить, словно чумной заразой, – так советует анархист Вотрен, грандиозная, любимая Бальзаком фигура.

В Латинском квартале, где в тесной каморке начал свою деятельность и сам Бальзак, сходятся его герои, первобытные формы социальной жизни: Деппен, студент-медик, карьерист Растиньяк, философ Луи Ламбер, художник Бридо, журналист Рюампре – целый сонм

⁵ Что он не мог докончить мечом, то я совершу пером (*фр.*).

молодых людей, представляющих собой неоформленные элементы, чистые, рудиментарные характеры. И тем не менее: вся жизнь, как она есть, группируется вокруг стола в легендарном пансионе Воке. А затем, влитые в великую реторту жизни, прокипяченные в огне страстей, охлажденные разочарованиями, застывшие, подвергнутые многократному воздействию природных сил, управляющих обществом, механическим трениям, магнитному притяжению, химическому разложению, молекулярному делению, – эти люди преобразовываются и теряют свою истинную сущность.

Страшная кислота, именуемая Парижем, одних растворяет, разъедает, выделяет и ведет к исчезновению, а других, наоборот, кристаллизует, заставляет затвердевать, окаменеть. В них происходят все процессы превращения, окрашивания и соединения, из различных элементов образуются новые комплексы, и десять лет спустя уцелевшие и приспособившиеся – знаменитый врач Деппен, министр Растиньяк, великий художник Бридо – приветствуют друг друга улыбками авгуров на высотах жизни, тогда как Луи Ламбер и Рюбампре разможены маховым колесом. Недаром Бальзак любил химию и изучал труды Кювье и Лавуазье. Ибо в многообразном процессе реакций, приближений, отталкиваний и притяжений, выделений и расчленений, разложений и кристаллизации, в атомном упрощении химических соединений яснее, чем где бы то ни было, отражалась, по мнению Бальзака, картина соединения социального. Что всякое множество воздействует на единицу не менее, чем единица, в свою очередь, определяет множество (это воззрение, которое он называл ламаркизмом, было впоследствии сформулировано Тэнном), что всякий индивид является продуктом климата, среды, обычаев, случая и вообще всего, с чем он по воле судьбы соприкасается, и что всякий индивид впитывает свою сущность из атмосферы, а затем, в свою очередь, излучает из себя новую атмосферу, – эта всеобъемлющая обусловленность внутреннего и внешнего мира была для него аксиомой. Высшая задача художника, казалось ему, – зарисовывать этот отпечаток органического на неорганическом, следы живого в отвлеченном, итоги наличных в данный момент духовных приобретений социального организма, продукты целых эпох. Все переливается одно в другое, все находится в движении, ни одна сила не свободна. Столь неограниченная вера в относительность явлений отвергала всякую цельность, даже в области характера.

У Бальзака людей всегда творят события: словно глину, лепит их рука судьбы. Всякое из имен его героев объемлет нечто изменчивое, а не единое. В двадцати книгах Бальзака проходит барон де Растиньяк, пэр Франции. Кажется, будто его уже знаешь, по уличным ли, по салонным или по газетным встречам, его, этого наглого выскочку, этот прототип грубого, безжалостного парижского карьериста, व्यуном проскальзывающего сквозь все лазейки в законе и мастерски олицетворяющего мораль развращенного общества. А между тем есть книга, где тоже живет Растиньяк, молодой, бедный дворянин, отправленный родителями в Париж с большими надеждами и малыми деньгами, – мягкий, кроткий, скромный, сентиментальный характер. Эта книга повествует о том, как он попадает в пансион Воке, – в этот дьявольский котел, в один из тех гениальных ракурсов, где в четырех стенах, оклеенных дешевенькими обоями, Бальзак умещает все присущее жизни многообразие темпераментов и характеров, – и здесь этот юноша видит трагедию безвестного короля Лира, старика Горио, видит, как мишурные принцессы Сен-Жерменского предместья нагло обкрадывают старого отца, видит всю низость человеческого общества. И вот, когда он следует наконец за гробом этого слишком доброго человека, один, сопутствуемый только дворником и служанкой, когда в суровый час с высот Пер-Лашез видит у ног своих Париж, грязно-желтый, мутный, как злой нарыв, – тогда познает он всю премудрость жизни.

В это мгновение ему слышится голос каторжника Вотрена, слышатся его поучения о том, что с людьми надо обращаться как с почтовыми клячами, гнать их в три кнута, а затем пусть подышают у самой цели: и в эту секунду он становится бароном де Растиньяком остальных книг, наглым, неумолимым карьеристом, пэром Франции. Такую секунду на перепутье жизни пере-

живают все герои Бальзака. Все они становятся солдатами в войне всех против всех; всякий мчится вперед, и через труп одного прокладывают себе дорогу остальные. И Бальзак показывает, что у всякого есть свой Рубикон, свое Ватерлоо, что одни и те же схватки происходят во дворцах, в хижинах и в тавернах и что под одеяниями священников, врачей, солдат и адвокатов гнездятся одни и те же побуждения. Это прекрасно знает его Вотрен, анархист, играющий самые разнообразные роли, выступающий в книгах Бальзака под десятком личин, но всегда один и тот же – и сознательно один и тот же. Под нивелированной поверхностью современной жизни продолжаются подземные бои. Ибо внешнему уравниванию противодействует внутреннее честолюбие. Так как никому не припасено особого места, как некогда королю, дворянству или духовенству, и так как всякий имеет право на все места, то усилия удесятятся. На сокращение возможностей жизнь отвечает удвоением энергии.

Именно эта убийственная и самоубийственная борьба энергий – именно она-то и прельщает Бальзака. Его страсть – описывать целеустремленную энергию, как выражение сознательной воли к жизни, описывать ее не в ее действии, а в ее сущности. Добрая она или злая, способна ли она давать полезное действие или же расточается впустую – это ему безразлично, была бы она только интенсивна. Интенсивность, воля – это все, потому что они принадлежат человеку; успех и слава – ничто, потому что их определяет случай. Мелкий воришка, трус, который тащит с прилавка и прячет в рукав небольшую булку, скучен; крупный вор, профессионал, который грабит не только ради выгоды, но и в угоду страсти, чье существование полностью определяется понятием рвачества, – грандиозен. Вымерять эффекты, события – задача исторической науки; вскрывать первопричины, напряжения – кажется Бальзаку задачей писателя. Ибо трагична только сила, не достигающая цели. Бальзак описывает *les héros oubliés*⁶; для него в каждой эпохе существует не один только единичный Наполеон, не только тот, исторический, что завоевал с 1796 по 1815 год весь мир, – нет, их у него на примете четверо или пятеро. Один пал, может быть, под Маренго, и звали его Десексом; другой мог быть послан настоящим Наполеоном в Египет, подальше от великих событий; третий пережил, может статься, самую потрясающую трагедию: он был Наполеоном, но так и не добрался до поля битвы и, вместо того чтобы прогrometer горным потоком, иссяк в какой-нибудь провинциальной трущобе, однако же энергии затратил он не меньше, хоть и на мелкие дела.

Выводит он также и женщин, которые своим самопожертвованием и красотой могли бы прославиться не хуже самых лучезарных королей, чьи имена звучали бы, как имена Помпадур или Дианы де Пуатье; говорит о поэтах, сраженных немилостью породившего их времени; слава прошла мимо их имен, и другому приходится наделять их этой славой. Он знает, что каждая секунда жизни бесплодно тратит огромные запасы энергии. Ему известно, что сентиментальная провинциалочка Евгения Гранде в то мгновение, когда она, трепеща перед скупым отцом, дарит своему кузену кошелек с деньгами, проявляет не меньше мужества, чем Жанна Д'Арк, чьи мраморные статуи сверкают по всей Франции на городских площадях.

Успехи не могут ослепить биографа бесчисленных карьер, не могут ввести в заблуждение того, кто химически разложил всю косметику общественного обихода. Неподкупное око Бальзака, выискивающее повсюду только энергию, видит в толчее событий всегда только живое напряжение и в давке на Березине, где разгромленная наполеоновская армия переправляется по мосту, где отчаяние, подлость и геройство сотни раз описанных сцен сконцентрированы в одной секунде, – выхватывает настоящих, величайших героев: тех сорок никому не ведомых солдат-саперов, трое суток простоявших по грудь в нестерпимо холодной воде, среди плывущих льдин, чтобы навести зыбкий мост, по которому спаслось пол-армии. Он знает, что за парижскими занавешенными окнами ежесекундно разыгрываются трагедии, отнюдь не менее

⁶ Забытых героев (*фр.*).

значительные, чем смерть Юлии, конец Валленштейна или отчаяние Лира, и не перестает повторять горделивые свои слова: «Мои буржуазные романы трагичнее ваших трагедий».

Ибо его романтика захватывает до глубины души. Его Вотрен в обывательской своей одежде потрясает не менее, чем увешанный бубенцами звонарь собора Парижской богородицы Квзимодо у Виктора Гюго, а угрюмые утесы душевных ландшафтов и дикие заросли страстей и алчности в груди его великих честолюбцев наводят не меньший ужас, чем страшная скалистая пещера в «Гане Исландце».

Бальзак ищет грандиозного не в драпировках, не в исторических или экзотических перспективах, а в сверхмерном, в повышенной напряженности чувства, ставшего в замкнутости своей единственным. Он знает, что всякое чувство лишь тогда становится значительным, когда сила его остается несломленной, и каждый человек лишь тогда велик, когда он сосредоточивается на одной цели, не разбрасывается, не расщепляется на отдельные желания, когда его страсть, вбирая в себя соки, питающие другие чувства, противоестественно укрепляется за счет ограбленных, подобно тому как с удвоенной мощью расцветает ветвь после удаления садовником лишних побегов.

Он описал таких мономанов страсти, которые все свое миропонимание сводят к одному-единственному символу, устанавливая один-единственный смысл в хитросплетении хоровода жизни. Основной аксиомой его энергетике служит нечто вроде механики страстей: убеждение, что всякая жизнь сопряжена с расходом некоторой постоянной суммы сил, независимо от того, на какие иллюзии она расточает эти волевые импульсы, независимо от того, разменивает ли она их постепенно на тысячи возбуждений или расчетливо копит для внезапных сильных экстазов, истощается ли жизненный огонь в медленном горении или в ярких вспышках. Кто живет быстрее – живет не менее продолжительно; кто живет по единому плану – живет не менее многообразно.

Для произведения, где изображаются одни лишь типы, где растворяются чистые элементы, – только такие мономаны и нужны. Вялые люди не интересуют Бальзака, его занимают лишь такие, которые являются чем-то цельным, которые всеми нервами, всеми телесными силами, всеми помыслами цепляются за какую-нибудь иллюзию жизни, будь то любовь, искусство, скупость, самопожертвование, храбрость, косность, политика, дружба, – за какой угодно символ, но уж зато целиком. Эти *hommes à passion*⁷, эти фанатики ими же созданной религии, не озираются по сторонам. Они говорят между собой на разных языках и не понимают друг друга. Предложите, например, коллекционеру женщину, прекраснейшую в мире, – он ее не заметит; или влюбленному блестящую карьеру – он ею пренебрежет; или скупому что-нибудь другое, кроме денег, – он даже глаз не подымет от своего сундука. Но стоит ему поддасться соблазну и бросить любимую страсть ради другой – и он погиб. Ибо мышцы, которыми не пользуешься, разрушаются, сухожилия, которых годами не напрягал, костенеют, и тот, кто всю жизнь был виртуозом одной-единственной страсти и атлетом одного только чувства, оказывается во всякой иной области дилетантом и заморышем.

Всякое превратившееся в мономанию чувство порабощает остальные, отводит от них воду и ведет их к иссыханию; однако возбудительные их свойства оно поглощает. Все степени и перипетии любви, ревности и печали, усталости и экстаза отражаются, как в зеркале, у скупца в его любви к стяжательству, а у коллекционера – в страсти к коллекционированию, ибо всякое абсолютное совершенство соединяет в себе всю совокупность чувственных возможностей.

Сосредоточенная односторонность содержит в своих эмоциях все многообразие желаний пренебреженных. Тут-то и завязываются великие бальзаковские трагедии. Делец Нюсенжен, наживший миллионы, наиумнейший из всех банкиров империи, становится глупым ребенком в руках какой-то девки; поэта, ударившегося в журналистику, жизнь растирает в прах, как

⁷ Страстные люди (*фр.*).

зерно под жерновом. Являя собою как бы некое видение мира, каждый символ ревнив, как Иегова, и не терпит подле себя иных страстей.

Из этих страстей ни одна не выше и не ниже; для них, так же как для картин природы или сновидения, нет табели о рангах. Не бывает страсти слишком ничтожной. «Почему бы не написать трагедии глупости? – говорит Бальзак. – Или стыдливости, или робости, или скуки?» Ведь и они являются побудительной, движущей силой, ведь и они бывают значительны, поскольку они достаточно напряжены; и даже самая убогая линия жизни таит в себе размах и силу красоты, если без изломов стремится прямо вперед или завершает определенный ей судьбою круговорот. Вырывать эти первобытные силы (или, вернее, эти тысячи Протеевых форм подлинной первобытной силы) из груди человеческой, накалять их давлением атмосферы, бичевать чувством, опьянять вином ненависти и любви, заставлять бесноваться во хмелю, разбивать порой о придорожный камень случая, сжимать их и рвать на части, устанавливая связи, мостами соединять мечту с мечтой, скупца с коллекционером, честолюбца с эротоманом, без усталости перестраивать параллелограммы сил, в каждой судьбе под гребнями и провалами волн вскрывать грозную пучину, швырять их снизу вверх и сверху вниз и при этом глядеть разгоревшимися глазами на эту пламенную игру, словно ростовщик Гобсек на бриллианты графини Ресто, то и дело кузнечными мехами раздувать готовый погаснуть огонь, помыкать людьми, как рабами, ни на миг не давать им покоя, таскать их, как Наполеон таскал своих солдат, по всем странам, – из Австрии обратно в Вандею, за море в Египет, а потом в Рим, через Бранденбургские ворота и назад к склонам Альгамбры, наконец, после побед и поражений, в Москву, растеряв по дороге добрую половину людей, растерзанных гранатами, погребенных под степными снегами, – словом, из всего мира нарезать каких-то фигурок, подмалевать пейзажную декорацию, а затем тревожными пальцами руководить ходом кукольной комедии – вот в чем заключалась мономания самого Бальзака.

Ибо он, Бальзак, был сам одним из тех великих мономанов, каких он увековечил в своих произведениях. Разочарованный мечтатель, пренебрежительно отвергнутый миром, которому нелюбы начинающие и бедняки, он углубился в тишину и сам создал себе символ мира. Мира, ему принадлежащего, ему подвластного и с ним погибшего.

Действительность проносилась мимо него, и он за ней не гнался. Он жил взаперти в своей комнате, прикованный к письменному столу; жил в лесу своих образов, как коллекционер Эли Магюс среди своих картин. С той поры, как пошел ему двадцать пятый год, действительность – за редкими исключениями (неизменно принимавшими трагический оборот) – занимала его, вероятно, только как материал, как горючее, приводившее в движение маховик его собственного мира. Почти сознательно сторонился он в жизни всего живого, словно предчувствуя, что соприкосновение этих двух миров – его собственного и того, другого, – непременно окажется болезненным. В восемь часов вечера, утомленный, ложился он в постель и, проспав четыре часа, вставал в полночь.

Когда Париж, этот шумный окружавший его мир, смыкал воспаленные очи, когда мрак ниспадал на немолчный рокот улиц и мир куда-то исчезал, – тогда начинал жить его мир, и он строил его рядом с другим, из разрозненных элементов этого другого и часами пребывал в каком-то лихорадочном экстазе, непрерывно подстегивая усталые нервы черным кофе.

Так работал он десять, двенадцать, а то и восемнадцать часов, пока что-нибудь не возвращало его из этого мира обратно к действительности. В такие-то минуты пробуждения и бывало у него, вероятно, то выражение, которое придал ему в своей статуе Роден, – этот испуг внезапного падения из заоблачных сфер в забытую действительность, этот потрясающе грандиозный, почти кричащий взор, эта рука, натягивающая одежду на зябкие плечи, это движение человека, только что оторванного от сна, или лунатика, громко окликнутого по имени. Никто из писателей не углублялся в свое творчество с таким самозабвением и напряженностью, ни

у кого не было такой крепкой веры в свои грезы, ни у кого галлюцинации не были так близки к самообману.

Не всегда умел он останавливать свое возбуждение, как машину, задерживая чудовищное вращение махового колеса, отличать отражение в зеркале от действительности и проводить резкую черту между тем и другим миром. На целую книгу хватило анекдотов о том, как он в пылу работы проникался верой в существование своих героев, – анекдотов, зачастую смешных и по большей части немного жутких. Вот входит приятель. Бальзак, полный отчаяния, бросается ему навстречу с возгласом: «Представь себе, несчастная покончила с собой!» – и лишь по испугу и недоумению приятеля замечает, что образ, о котором он говорит – Евгении Гранде, – жил только в надзвездных его краях.

Эта столь длительная, столь интенсивная, столь полная галлюцинация отличается от патологического бреда умалишенного, пожалуй, единственно лишь тождеством законов, наблюдаемых во внешней жизни и в этой новой действительности, одинаковой причинностью бытия, не столько формой жизни его типов, сколько тем, что они в самом деле способны жить, что они будто только что переступили порог его кабинета, войдя в его произведения откуда-то извне. Но по своей прочности, по упорству и законченности бредовой идеи эта самоуглубленность была достойна истого мономана, и его творчество было уже не прилежным трудом, а лихорадкой, опьянением, мечтой и экстазом. Оно было чудесным паллиативом, сонным зельем, помогавшим забывать о томившей его жажде жизни.

Приспособленный, как никто, к жизни для наслаждений, к расточительности, он по собственному признанию видел в этой лихорадочной работе не что иное, как способ наслаждаться. Ибо такой необузданно требовательный человек мог, подобно мономанам в его книгах, отказаться от всякой иной страсти лишь благодаря тому, что он чем-то ее заменял. Он мог легко обойтись без всего того, что подстегивает наше чувство жизни, – без любви, без честолюбия, игры, богатства, путешествий, славы и побед, потому что в своем творчестве он находил суррогаты, во много раз их превосходившие.

Чувства безрассудны, как дети. Они не умеют отличать подлинное от поддельного, обман от действительности. Только бы их питали, все равно чем – переживаниями или мечтой. И Бальзак всю жизнь обманывал свои чувства: вместо того чтобы дарить им наслаждения, он этими наслаждениями только морочил их; он утолял их голод запахом лакомств, в которых им отказывал. Все его переживания сводились к страстному участию его в наслаждениях своих созданий. Ведь это же он бросил десять луидоров на игорный стол, это он трепетал всем телом, пока вертелась рулетка, это он горячими пальцами загребал звонкий поток выигранных денег; это он одержал только что блестящую победу на подмостках театра; это он штурмовал со своими бригадами высоты или подкапывался под твердыни фондовой биржи.

Все радости его созданий принадлежали ему; тут-то и крылись те восторги, которые снедали его столь убогую по внешности жизнь. Он играл своими людьми, как ростовщик Гобсек теми несчастными, что без всякой надежды на успех приходили просить у него займы, а он заставлял их дергаться, словно рыб на крючке, испытующе взирая на их горе, веселье и страдания, как на более или менее талантливую игру актеров. И сердце его под грязной курткой Гобсека говорит так: «Неужели вы думаете, что это ничего не значит, когда проникаешь таким образом в сокровеннейшие уголки человеческого сердца, когда проникаешь в него так глубоко и видишь его перед собой во всей его наготы?» Ибо он, этот волшебник воли, претворял чужое в свое и мечты в жизнь. Рассказывают, будто в дни молодости, питаясь у себя в мансарде одними сухарями, он рисовал мелом на столе контуры тарелок и вписывал туда названия самых лакомых и любимых кушаний, чтобы силой внушения ощутить в черством хлебе вкус изысканнейших блюд.

И если здесь он рассчитывал на известные вкусовые ощущения и в самом деле их обретал, то, вероятно, совершенно так же в эликсирах своих книг вкушал он неистовыми глотками

все прочие прелести жизни и совершенно так же обманывал собственную бедность богатством и роскошью своих слуг. Вечно терзаемый долгами и преследуемый кредиторами, он испытывал, несомненно, чувственное возбуждение, когда писал: сто тысяч франков годового дохода. Ведь это он сам рылся в картинах Эли Магюса; это он в роли старика Горио любил двух своих дочерей-графинь, это он подымался с Серафитом на горные вершины над никогда не виданными им норвежскими фиордами или приковывал к себе вместе с Рюбампре восхищенные взгляды красавиц. Он, он сам был тот, ради кого, словно потоки раскаленной лавы, извергались страстные желания из всех этих людей, из людей, для которых он варил из светлых и темных трав напиток счастья и горя.

Никогда ни один писатель не приобщался так полно, как он, к наслаждениям своих героев. Именно там, где он дает картины вождельного богатства, именно там сильнее, нежели в эротических приключениях, чувствуется опьянение самообольстителя, гашишные грезы одинокого. Это и есть его сокровеннейшая страсть – этот прилив и отлив цифр, это жадное выигрывание и проигрывание крупных сумм, эта переброска капиталов из рук в руки, разбухание балансов, бурное падение ценных бумаг, провалы и подъемы в беспредельность.

По его велениям миллионы, словно гром, обрушиваются на головы нищих и, как ртуть, растекаются капиталы в слабых руках. Со сладострастием живописует он роскошные особняки богатых кварталов и всю магию денег. Слова «миллионы» и «миллиарды» произносятся у него всегда с затаенным дыханием, в каком-то косноязычном изнеможении, с хрипом иступленной похоти. Полные неги, словно одалиски в гареме, стоят рядами предметы убранства пышных чертогов, и, как драгоценные регалии, разложены атрибуты человеческого могущества. Даже рукописи его прожжены этой лихорадкой. Можно проследить, как спокойные, нарядные вначале строки вздуваются, подобно жилам на лбу разгневанного человека, как они расшатываются, становятся торопливее, рвутся опередить одна другую, испещренные пятнами кофе, которым он взбадривал утомленные нервы; кажется, будто слышишь прерывистое, шумное пыхтение перегретой машины, фанатические, маниакальные судороги творца этих строк, алчность «донжуана речи», человека, стремящегося все получить и всем обладать.

И новое бурное проявление ненасытности видишь на корректурных листах, застывшую верстку которых он то и дело ломал и взрывал, подобно тому как больной в жару берedit свою рану, чтобы прогнать лишний раз алую пульсирующую кровь строк по неподвижному, уже охладевшему телу.

Столь титанический труд был бы непонятен, если бы он не был вожделием, больше того – единственным, чего хотел от жизни человек, аскетически отказавшийся от всех других видов власти, человек страстный, для которого единственной возможностью обуздать себя было искусство. Раз или два довелось ему, правда, грезить и над другим материалом. Он пытался приспособиться к практической жизни. Первая такая попытка относится к тому времени, когда он, отчаявшись в своем творчестве, захотел достичь действительного финансового могущества, сделался спекулянтом и основал типографию и газету. Но по той иронии, которую судьба всегда держит наготове для отступников, он, в книгах своих ведавший все, все проделки биржевиков, все ухищрения мелких и крупных фирм, все приемы ростовщиков, он, знавший цену всякой вещи, создавший положение сотням людей в своих произведениях, путем правильных логических построений добывший им состояние, наделивший богатством Гранде, Попино, Кревеля, Горио, Бридо, Нюсенжена, Вербруста и Гобсека, – сам он потерял весь свой капитал, постыдно разорился и ничего себе не оставил. Ничего, кроме страшной свинцовой тяжести долгов, которую затем, став илотом неслыханного каторжного труда, полвека со стонами таскал на своих широких, как у грузчика, плечах, пока, надорвавшись, не свалился наконец безмолвно под бременем работы.

Ревность покинутой страсти, единственной, которой он отдавался, – страсти к искусству – жестоко отомстила ему. Даже любовь, для других – чудесный сон о пережитом, о дей-

ствительно бывшем, оказалась для него лишь переживанием, родившимся из сна. Госпожа Ганская, впоследствии его супруга, та самая *étrangère*⁸, к которой были обращены знаменитые его письма, была страстно любима им раньше, чем он успел заглянуть ей в глаза, была любима им еще тогда, когда она была чем-то столь же нереальным, как *la fille aux yeux d'or*⁹, как Дельфина и Евгения Гранде. Для истинного писателя всякая иная страсть, кроме страсти к творчеству, к вымыслу, является уклонением от прямого пути. «*L'homme des lettres doit s'abstenir des femmes, elles font perdre son temps, on doit se borner à leur écrire, cela forme le style*»¹⁰, – сказал он как-то Теофилю Готье. В глубине души он любил вовсе не госпожу Ганскую, а свою любовь к ней, любил не те положения, с какими сталкивался, а те, которые сам измышлял. Жажду действительности он так долго утолял иллюзиями, так долго играл образами и костюмами, что под конец, как актер в момент высшего подъема, сам уверовал в свою страсть.

Без устали предаваясь этой страсти к творчеству, он все подгонял процесс внутреннего сгорания, пока пламя не выбилось наружу и он не погиб. С каждой новой книгой, с каждым осуществленным таким образом желанием его жизнь съеживалась, подобно волшебной лосиной коже в его мистической новелле, и он покорялся своей мономании, как игрок – картам, пьяница – вину, курильщик гашиша – роковой трубке, сластолюбец – женщинам. Он погиб от чрезмерно полного исполнения своих желаний.

Само собой разумеется, что столь исполинская воля, так щедро наделявшая мечты кровью и жизнью, напрягавшая их так, что возбуждение их не уступало в силе явлениям действительности, – само собой разумеется, что столь огромная, столь чудодейственно могучая воля видела тайну жизни в своей собственной магии и возводила себя в мировой закон. Своей подлинной философией не могло быть у того, кто никогда себя не выдавал, кто был, пожалуй, лишь некой изменчивостью, у кого, подобно Протею, не было своего облика, потому что он мог принять любой из многих; кто, словно дервиш или странствующий дух, перевоплощался в образы тысяч людей и терялся в дебрях их жизни, являясь то оптимистом, то альтруистом, то пессимистом или релятивистом, кто мог принять или отвергнуть любое мнение, любую ценность, как включают и выключают электрический ток. Бальзак никого не оправдывает и никого не осуждает. Он всегда только *éprouse les opinions des autres*¹¹, – на других языках нет соответствующего слова, обозначающего добровольное восприятие чужого мнения без длительного отождествления себя с ним; его захватывал момент, замыкал его в грудную клетку его героев, вовлекал в поток их страстей и пороков. Истинной и неизменной была в нем лишь чудовищная воля, которая, подобно заклинанию «сезам», расплывала скалы, заграждавшие вход в незнакомую душу, ввергала его в мрачные глубины чужого чувства и выводила оттуда нагруженным алмазами людских переживаний.

Более всякого другого был он, вероятно, склонен приписывать человеческой воле могущество не только духовного, но и материального порядка и ощущать ее как жизненный принцип и мировой закон. Ему известно было, что воля, этот флюид, который, исходя от Наполеона, потрясал мир, сокрушал государства, возводил на троны королей и запутывал в клубок миллионы судеб, – что это нематериальное колебание, это чисто атмосферное давление духа на окружающую его среду должно проявляться также и в области материальной, налагать свой отпечаток на физиономию, внедряться в тело, во все его части. Ибо если мимолетное волнение меняет выражение всякого лица, скрашивая грубые и даже совсем тупые черты, придавая им известное своеобразие, то насколько же более выпуклой скульптурой должна выступить на ткани лица постоянно напряженная воля и непреходящая страсть!

⁸ Чужестранка (*фр.*).

⁹ Девушка с золотистыми глазами (*фр.*).

¹⁰ Писатель должен сторониться женщин: они вынуждают его терять время. Следует ограничиваться писанием им писем, это вырабатывает стиль (*фр.*).

¹¹ Принимает чужие мнения (*фр.*).

Человеческое лицо представлялось Бальзаку окаменевшей волей к жизни, отлитой из бронзы характеристикой, и как археолог восстанавливает по окаменелостям целую культуру, так и Бальзак полагал делом писателя определять по лицу человека и по окружающей его атмосфере внутреннюю его культуру. Эта физиогномика заставила его полюбить учение Галля и его топографию заложенных в мозгу способностей и изучать Лафатера, который тоже видел в лице не что иное, как ставшую плотью и кровью жизненную волю или вывернутый наизнанку характер. Все, что подчеркивало эту магию, это таинственное взаимодействие внутреннего и внешнего, было ему по душе. Он верил в Месмерово учение о магнетической передаче воли от одного медиума к другому, верил, что пальцы – это огненные сети, излучающие волю, связывал это воззрение с мистическим одухотворением Сведенборга, и все эти не совсем сгустившиеся в теорию любительские домыслы свел воедино в учении своего любимца Луи Ламбера, *chimiste de la volonté*¹², этой необычайной фигуры рано умершего человека, странно сочетающей в себе автопортрет со стремлением к внутреннему совершенствованию и чаще, чем какой-либо другой персонаж Бальзака, соприкасающейся с его собственной жизнью.

Бальзаку всякое лицо представлялось шарадой, которую необходимо разгадать. Он утверждал, что в каждом облике он узнает физиономию какого-нибудь животного, верил, что по особым тайным признакам можно определить обреченного на смерть, и хвастал, что способен по лицу, движениям и платью угадать профессию любого прохожего на улице.

Однако такое интуитивное познание не представлялось ему еще высшей магией человеческого взора. Ибо все это охватывало только сущее, настоящее. А его глубочайшим желанием было уподобиться тем, кто, сосредоточив силы, может определить не только настоящее, но – по оставленным следам – и прошлое, а по развитию корней – также и будущее, породниться с хиромантами, гадалками, звездочетами, ясновидящими, словом со всеми, кто одарен более глубоким взором – *seconde vue*¹³, кто берется узнать сокровеннейшее по внешнему признаку, бесконечное – по определенным линиям и может по тонким бороздам на ладони проследить краткий путь прожитой жизни и осветить темную тропу, ведущую в будущее. Таким магическим взором наделен, по мнению Бальзака, лишь тот, кто не разбросал своего ума по тысяче направлений, а – идея концентрации постоянно повторяется у Бальзака! – сберег его в себе и устремил к одной-единственной цели. Дар *seconde vue* свойственен не одним волшебникам и ясновидящим: этим *seconde vue*, этой самопроизвольной прозорливостью, этим несомненным признаком гениальности обладают и матери по отношению к своим детям, и врач Деппен, мгновенно определяющий по смутным страданиям больного причину его болезни и вероятную продолжительность его жизни, и гениальный полководец Наполеон, немедленно решающий, куда перебросить бригады, чтобы решить участь боя. Им обладает и соблазнитель Марсэ, улавливающий мимолетные минуты, когда может добиться падения женщины, и биржевик Нюсенжен, всегда успевающий вовремя со своими биржевыми операциями.

Все эти астрологи души приобретают свои познания благодаря устремленному внутрь себя взгляду, который словно в подзорную трубу различает горизонты там, где невооруженному глазу мерещится лишь какой-то серый хаос. Здесь таится известное родство между прозрением писателя и дедукцией ученого, между быстрым, самопроизвольным постижением и медленным, логическим познанием. Бальзак, которому его собственная интуитивная проницательность была, должно быть, непонятна и которому не раз, вероятно, доводилось в страхе, полубезумным взглядом взирая на свои произведения как на нечто непонятное, – Бальзак поневоле прилепился к философии несоизмеримого, к мистике, которая не довольствовалась уже больше ходячим католицизмом какого-нибудь де Местра. И вот эта крупница магии, прирешанная к его сокровеннейшей сущности, эта непостижимость, обращающая его искусство

¹² Химик воли (*фр.*).

¹³ Второе зрение (*фр.*).

не только в химию, но и в алхимию жизни, – именно она-то и служит тем межевым знаком, который отделяет его от других, от позднейших, от подражателей, в особенности от Золя, подбиравшего камушек к камушку там, где Бальзаку достаточно было одного оборота волшебного его перстня, чтобы воздвигнуть тысячеконный дворец. Как ни огромна заложенная в его труд энергия, все же с первого взгляда прежде всего бросается в глаза колдовство, а не работа, не заимствование у жизни, а одаривание и обогащение ее.

Ибо Бальзак – и это витает облаком непроницаемой тайны вокруг его образа – в годы своего творчества уже больше не учился, не производил опытов и не вел житейских наблюдений, как, например, Золя, который, прежде чем написать роман, заводил на каждое действующее лицо особое дело, или как Флобер, перерывавший целые библиотеки, чтобы написать книжку в палец толщиной.

Бальзак редко возвращался в тот мир, что простирался за пределами его мира; он был заключен в тюрьме своих галлюцинаций, пригвожден к труду, как к стулу пыток, и то, что он приносил с собой, когда предпринимал короткую вылазку в действительность – когда ходил воевать с издателем или сдавать корректуру в типографию, когда обедал с приятелем или рылся в лавках парижских старьевщиков, – все это оказывалось всегда скорее подтверждением, чем сбором новых данных. Ибо еще в ту пору, когда он только начинал писать, знание всей жизни успело уже проникнуть в него каким-то таинственным путем и покоилось в нем, собранное, уложенное в одно место. Наряду с почти мифическим явлением Шекспира, величайшей, пожалуй, загадкой мировой литературы является вопрос, каким образом, когда и откуда внедрились в Бальзака эти чудовищно огромные, почерпнутые из всех профессий, материй, темпераментов и феноменов запасы знаний.

В течение трех или четырех лет – юношеских лет – работал он на разных поприщах: писцом у адвоката, потом издателем и студентом, и в эти-то немногие годы он и впитал в себя, по-видимому, это совершенно необъяснимое, необозримое множество фактов, это знание всех характеров и явлений. Он, должно быть, в те годы чрезвычайно много наблюдал. Взор у него был, вероятно, жадный, словно вампир вбиривший все, что попало, в свои тайники, в хранилище памяти, где ничто не увядало, ничто не проливалось, ничто не мешалось и не портилось, а все лежало в порядке, в сохранности, на своем месте, всегда под рукой, всегда обращенное самой существенной своей частью наружу; и все это раскрывалось и выскакивало, словно на шарнирах, от одного легкого прикосновения его воли, его желания.

Бальзаку ведомо было все: судебные процессы, сражения, биржевая тактика, спекуляция земельными участками, тайны химии, секреты парфюмеров, техника живописи, споры богословов, газетное дело, обманы театральных подмостков и других – подмостков политики. Он знал провинцию, Париж и весь свет; он, этот *connaisseur en flânerie*¹⁴, читал, как книгу, замысловатые узоры улиц, знал о каждом доме, когда, как и для кого он построен, разрешал геральдические загадки герба над его входом, по стилю постройки восстанавливал целую эпоху и знал в то же время размеры квартирной платы, населял каждый этаж людьми, обставлял комнаты мебелью, наполнял их атмосферой счастья и несчастья и от первого этажа ко второму, от второго к третьему плел незримую сеть судьбы. У него были всеобъемлющие познания: он знал, во что ценится картина Пальмы Веккио, и знал, сколько стоит гектар пастбищной земли и во что обходится завиток кружева, кабриолет или содержание лакея. Он знал жизнь щеголей, которые, погрязая в долгах, ухитрялись спускать по двадцати тысяч франков в год, а двумя страницами дальше описывает существование горемычного рантье, в чьей мелочно расчетливой жизни прорвавшийся зонтик или разбитое оконное стекло означают катастрофу.

Перевернем еще две-три страницы, и вот уже он в кругу последних бедняков. Он исследует, как зарабатывает свои несколько су несчастный водонос, уроженец Оверни, мечтающий

¹⁴ Знаток и ценитель празднотания (*фр.*).

обзавестись маленькой-маленькой лошадкой, чтобы не возить бочку с водой на себе, или студент, или швея, что влачат в большом городе полурастительное существование. Возникают тысячи пейзажей, каждый из них готов обратиться в задний план для судеб его героев, помочь их формированию, и достаточно ему одного беглого взгляда на окрестность, чтобы рассмотреть ее с большей отчетливостью, чем видят ее местные старожилы.

Ему ведомо было все, чего хоть однажды коснулся он мимолетным взором, и – замечательный парадокс художника! – ему ведомо было даже то, чего он и вовсе не знал. Он из мечтаний своих воздвиг фиорды Норвегии и стены Сарагосы, и получились они точно такие, как в действительности. Чудовищна эта быстрота прозрения! Он мог, казалось, распознать во всей ясности и обнаженности то, что для других было скрыто тысячью покровов. У него все было размечено, ко всему подобраны ключи, со всякого предмета мог он снять наружную оболочку, и все они являли ему внутреннюю свою суть. Перед ним раскрывались человеческие лица, и зернами спелого плода западало все в чувственное его сознание. Одним взмахом выхватывает он существенное из мелких складок несущественного; и не то чтобы он выгребал его, малопомалу откапывая слой за слоем, – нет, словно динамитом взрывает он золотоносные жилы жизни.

И одновременно с этими подлинными формами улавливает он и нечто неуловимое – окружающую их, словно облако газа, атмосферу счастья и несчастья, проносящиеся между небом и землей сотрясения, близкие взрывы, грозовые обвалы воздуха. То, что для других существует лишь в виде каких-то очертаний, что представляется им холодным и спокойным, будто заключенным под стеклянным колпаком, – то его волшебной чувствительностью воспринимается как состояние атмосферы в трубке термометра.

В этом необычайном, несравненном интуитивном знании и заключается гениальность Бальзака. А так называемый «художник» – распределитель сил, организатор и творец, связующий и разрешающий, – чувствуется в Бальзаке не столь отчетливо. Так и хочется сказать, что он вовсе не был тем, что называется «художником», – настолько был он гениален. «Une telle force n'a pas besoin d'art»¹⁵. Это изречение применимо и к нему. В самом деле, здесь перед нами сила, столь величавая и огромная, что она, подобно вольному зверю девственных лесов, не поддается укрощению; она прекрасна, как тернистые заросли, как горный поток, как гроза, как все те вещи, эстетическая ценность которых заключается единственно лишь в напряженной их выразительности. Ее красота не нуждается в симметрии, в декорациях, в тщательном распределении, ибо она воздействует необузданным многообразием своих сил.

Бальзак никогда не составлял точного плана своих романов; он погрязал в них, как в страсти, зарывался в описания и слова, как в мягкие ткани или в обнаженное цветущее тело. Он вычерчивает образы, набирая их отовсюду, из всех сословий и семейств, из всех провинций Франции, как Наполеон своих солдат, формирует из них бригады, назначает одного в конницу, другого приставляет к оружию, а третьего определяет в обоз, насыпает порошу на полки их ружей и предоставляет их затем собственным их неукротимым силам.

Несмотря на прекрасное – написанное, однако, задним числом! – предисловие, в «Comédie humaine» тоже нет внутреннего плана. Она лишена плана, подобно тому как и сама жизнь казалась ему лишенной плана; в ней нет никакой моральной, никакой обобщающей установки, она в изменчивости своей стремится показать вечно изменчивое. Во всех этих приливах и отливах нет непрерывно действующей силы, а есть лишь некая скоропреходящая тяга, вроде таинственного притяжения луны, – та бестелесная, словно из облаков и света сотканная атмосфера, которую называют эпохой. Единственный закон этого нового космоса сводится к тому, что все участвующее в процессе взаимодействия само видоизменяется; что свободы действий, свойственной божеству, дающему лишь внешние толчки, не существует; что все люди,

¹⁵ Такая сила не нуждается в искусстве (*фр.*).

непостоянное сообщество которых и образует эпоху, сами творятся эпохой; что их мораль, их чувства так же производны, как и они сами; что все – относительно; что именуемое в Париже добродетелью за Азорскими островами оказывается пороком; что ни для чего не существует твердого мерила и что страстные люди должны расценивать мир так, как расценивают они в романах у Бальзака женщину: сто́ит она, по их мнению, всегда столько, во что она им обходится.

Писателю, который и сам является только продуктом, созданием своего времени, не дано извлечь непреходящее из превратного, а потому задача его может заключаться лишь в изображении атмосферного давления, духовного состояния его эпохи, изменчивой игры сил, одухотворявших, сцеплявших и снова разъединявших миллионы молекул. Быть метеорологом социальных течений, математиком воли, химиком страстей, геологом первобытных национальных формаций, словом – быть многосторонним ученым, который, пользуясь всевозможными инструментами, исследует и выслушивает тело своей эпохи, и в то же время быть собирателем всех ее событий, живописцем ее пейзажей, солдатом ее идей, – вот куда влекло Бальзака честолюбие, и вот почему так неутомимо зарисовывал он как грандиознейшие, так и бесконечно малые предметы. И благодаря этому его произведения являются – по меткому выражению Тэна – величайшим со времен Шекспира хранилищем человеческих документов. Правда, в глазах своих, да и многих наших современников, Бальзак – лишь сочинитель романов. Если взглянуть на него с этой точки зрения, сквозь призму эстетики, то он не покажется таким гигантом. Ибо у него, собственно говоря, мало образцовых, классических вещей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.